

А. М. Мелихов¹

МИР, ГДЕ НАС НЕТ

«Русская литература XXI века — факт или фантом?» Когда этот вопрос задается писателям, мне вспоминается один мой старый приятель, который при встрече всегда радостно хохочет: «Ты еще жив, старик?...» И я много лет разводил руками: «Извини, придется подождать». Но в последнее время почему-то начал отвечать: «Не дождешься». Скорее всего потому, что стал сомневаться в его доброжелательности.

И переставшая читать публика напоминает мне неверного супруга, которому мало просто бросить жену, оттого что нашел помолуже или побогаче, — он должен еще и объявить ей, что она опустилась как личность. Скажем, в том же журнале «Нева», где я работаю, когда я начинал в нем печататься, прочитывались и передавались из уст в уста каждая крупинка «правды», каждое «смелое» мнение, хотя и правда, и мнение, как правило, бывали всем известными. Но мы видели в этих проблесках какие-то микропобеды над советской властью, что вздувало тираж за сотню тысяч, а то и выше. Сегодня же мы постоянно печатаем прозаические и публицистические вещи, каждая из которых в прежние времена вызывала бы разговоры и дискуссии на недели, если не на месяцы, но их замечает в лучшем случае лишь литературно-публицистическое сообщество.

И почему же? Да потому, что их невозможно использовать в борьбе с властью — похоже, по-прежнему единственной стихией, которую мы по-настоящему уважаем: ведь ненавидеть — это тоже уважать. А власть мудро отказалась создавать писателям авторитет своими преследованиями: резвитесь в своей песочнице сколько хотите, пишите про нас что вздумается, а мы еще и выделим вам грант за социальную значимость.

Но литература-то существует для борьбы не с таким мизерным противником, как прагматичная власть, а с врагами настоящими, смертельными — со смертью, старостью, беззащитностью человека перед мировым хаосом, и когда сделалась почти бессильной религия, ее место заняло искусство: оно изображает человека пускай сколь угодно несчастным, но значительным. И сейчас в одном лишь Петербурге я могу назвать несколько отличных прозаиков, каждый из которых ведет собственную борьбу с бессмысленностью бытия, если даже делает это средствами абсурда, заменяя унылый «естественный» абсурд абсурдом уморительным, как у Валерия Попова, страшным, но ярким, как у Сер-

гея Арно, или достоверным, но аллегорическим, как у Владимира Шпакова. Павел Крусанов — блестящий прозаик-интеллектуал, создающий новую мифологию высоким интеллектом и роскошной фантазией, Павел Мейлахс, творящий мрачную вселенную из душевной боли и духовного поиска, Сергей Носов, наполняющий мир милой иронией, ярчайшая Татьяна Москвина, что называется матерый реалист Михаил Кураев, Илья Бояшев, превратившийся из реалиста в мифотворца, Андрей Аствацатуров, Герман Садулаев...

Это одни только петербуржцы! Но их почти не видно ни в газетах, ни на телевидении, и даже в книжных магазинах их нужно специально разыскивать, а если не знаешь, то и не найдешь. И однажды я попытался вообразить себя немолодым интеллигентным человеком. Это было нелегко, но я постарался. И так, я родился при культе личности, расцвел при волюнтаризме, зрелость моя пришлась на застой, под его игом я сделал неплохую научно-техническую карьеру, но не забывал и о культуре. Когда интеллигенция делилась на большинство, выписывающее «Новый мир», и меньшинство, выписывающее «Иностранку», полупридушенную братскими прогрессивными авторами, я старался поглядывать во все стороны и вздыхал, что будь у нас свобода культуры, какими бы сокровищами духа мы упились!

Тем не менее я прочел и Ремарка, и Хемингуэя, и Кафку, и Сартра, и Камю, и Пруста, и Фолкнера, и Акутагаву, честно побарахтался в Джойсе, а кое-кого из перечисленных даже приобрел за десятку на черном рынке при «Водоканале». Но все-таки моя научно-техническая душа больше тянулась к Айтматову, Белову, Тендрякову, Гранину, Распутину, Шукшину, Трифонову, Грековой — сейчас уже и не припомнить, но все-таки было, что обсудить на работе. О, вспомнил: самая длинная очередь стояла за «Бессонницей» Крона: это же все было *про нас*.

Потом пришла свобода, как водится, нагая, и, до тошноты упившись ее наготой, я наконец снова обрел сравнительно тихую заводь, вернее, целых три: теперь я работаю в трех местах, зарабатываю, если измерять в бутылках водки, намного больше прежнего, лишившись, однако, важного советского преимущества — возможности в рабочее время жить духовной жизнью.

И все же я выловил из воздуха, что русская литература каким-то образом исчезла вместе с советской властью, что читать теперь нечего, и меня это устраивало: раз уж все равно нет для чтения ни свободного времени, ни свободной души, ни, пардон, свободных денег, так лучше уж верить, что я ничего от этого не потерял. Но теперь, когда у меня появились и кое-какое свободное время, и кое-какие свободные деньги (хоть та же пенсия), и даже кое-какая свободная душа, я отправился в пышный храм книжной торговли, заставленный такими баррикадами роскошных книг, какие при старом режиме и не снились. Ведь раньше в твер-

¹ Заместитель главного редактора журнала «Нева» (Санкт-Петербург), писатель, публицист, литературный критик, кандидат физико-математических наук. Автор литературно-публицистических произведений и книг прозы, в т. ч.: «Горбатые атланты, или Новый Дон Кишот», «Роман с простатитом», «Любовь-убийца», «Нам целый мир чужбина», «Чума», «В долине блаженных», «Любовь к отеческим гробам», «Интернационал дураков», «Дрейфующие кумиры», «Броня из облака», «Колочий треугольник», «Бессмертная Валька», «Каменное братство», «И нет им воздаяния», «Свидание с Квазимодо», «Былое и книги» и других, а также 60 научных работ по математике. Лауреат Набоковской премии, премии им. Н. В. Гоголя, премии Правительства Санкт-Петербурга и др.

дом переплете вообще расхватывалось все, лежали только сочинения из братских республик да брошюры типа «Как бороться с огнем», а тут кладки самых образованных иностранцев... И все бестселлеры, бестселлеры! Без посторонней помощи в культурных людях никак не удержаться. Раньше можно было ориентироваться хотя бы по советской печати: все стоящее она непременно обругивала, а сейчас писатели что-то вроде пишут, за что-то получают премии, но именно на премированные книги критика и накидывается особенно яростно (не просто книжка так себе, но именно дерьмо!), в противовес превознося каких-то других незнакомцев. Раньше-то какая-нибудь Ленинская премия для нас ровно ничего не значила, мы были сами с усами, если ее получал тот, кого мы не любим, мы лишь презрительно усмехались: это в экономике, в идеологии вы хозяева, а в культуре хозяев нет. Хочешь попасть на Олимп — очаровывай нас собственными силами, поддержка начальства лишь роняла писательский авторитет.

Однако первичный-то отбор делала все-таки критика: кого она ругала, в того следовало хотя бы заглянуть. Но что читать сейчас, когда нет никого, кто не был бы обруган последними словами? Незапачканными оставались только писатели западные, ибо российская критика была исключительно по своим. Но как выбрать двух-трех из сотен и тысяч безупречных? Эврика! Есть же высший знак качества — Нобелевская премия!..

Без бренда нет тренда, а бренд Нобелевки бренчит сегодня громче всех пустых бочек, даже и ее мотивировки — образцы напыщенного пустословия — прочтываются с почтением. Лев Толстой, многожды обойденный стокгольмскими владыками за его анархизм, антисексуальность и прочие непротивления, предлагал смотреть на книги глазами умного мужика. А я, стало быть, попытался взглянуть на современных нобелиатов глазами сегодняшнего «бюджетника» — инженера, врача, учителя, библиотекаря, которые много и нелегко работают и в редкие свободные часы берутся за книгу отнюдь не в поисках прикола или темы для изысканных разговоров, плавно перетекающих в модные диссертации.

И я щедро раскошелился на Дорис Лессинг, Варгаса Льосу, Мо Яня, Герту Мюллер, но решительно ничего гениального не нашел. Что-то было остроумно, что-то скучно, что-то точно, что-то фальшиво, но в целом ничуть не лучше наших. Однако самое главное — во всех книгах последних нобелиатов, которые я неделя за неделей читал с нарастающим унынием, *меня просто нет!*

Как же так оказалось, что меня в моем собственном государстве вытеснили из идеального мира?.. На что

мне тогда и государство, чья главная миссия в этом и заключается — служить связи с вечностью, хранить наследственные образы и символы, остальное-то в своей жизни я и без него сумею устроить. Что нужно защищать природу, ему хотя бы теоретически известно, а о том, что нужно защищать литературу — то зеркало, в котором люди могут увидеть свой образ в вечности, — об этом оно, похоже, даже не догадывается. Но раз уж случилось это, возможно, непоправимое бедствие, раз уж литература превратилась в товар и теперь книги продавливаются в бессмертие деньгами, рекламой, *брендами*, то нужно с этим бороться хотя бы при помощи антимонопольного законодательства! Это что, честная конкуренция, когда одного писателя продавливает паровоз, а другого только разрозненные ценители, чудом расслышавшие голос своего любимца сквозь паровозных свистков?

Я не собираюсь настаивать, что мои коллеги пишут лучше, чем нобелевские «звезды», — кто останется в вечности, пусть решает время, ибо несправедливость его суда и становится окончательной: мало кому приходит охота фальшивыми средствами продвигать давно умершего и забытого писателя. Игрушка должна быть новой, сенсация всегда звучит примерно так: «Мы только что открыли!..» А сенсации типа «Мы только что извлекли из забвения!..» случаются исключительно редко. И три четверти нобелевских лауреатов уже вполне успешно перенесены временем из списка «вечно живых» в историю литературы, — я сейчас не о времени, а о себе.

Мне, стареющему бюджетнику, не до вечности, мне всего лишь хочется читать книги, которым до меня есть дело. И мне не до тех, которым не до меня. А если они еще и заглушают писателей, живущих одной жизнью со мной, способных мне что-то открыть, чем-то меня подбодрить, то я их ощущаю как не просто безразличную, но как прямо враждебную мне силу, занявшую начальственное место, которое должно оставаться пустым.

Но почему мы так легко сдались силе, лишавшей нас зеркала, в котором наша жизнь предстала бы значительной, в какую она никогда не сможет преобразиться, не отразившись в художественном слове? Ведь предметы и события не бывают прекрасными — прекрасными бывают лишь рассказы о событиях и предметах. Почему мы не позволяли навязывать себе кумиров цековской Москве и с такой готовностью легли под нобелевский Стокгольм?

Что это у нас за мазохистский стокгольмский синдром — тех, кто нас вытесняет из мира, приветствовать радостным гимном, заглушающим безнадежный зов наших собственных душ?